

# Париж: последнее пристанище

Итак, Махно в Париже! Здесь ему не грозила опасность ни от белых, ни от красных, здесь были его друзья и семья. Первоначально Махно с семьей приняла близкая к анархистским кругам Мэй Пиккерей, у которой всегда «наготове был горячий суп и кофе» для друзей, попавших в беду. У нее маленькая семья Махно нашла временный кров, и, кроме того, хозяйка вверила батьку услугам знакомых врачей, ибо здоровье его было расшатано тюрьмами и долгими беспокойными странствиями. Французские анархисты тоже хорошо приняли Махно, о котором узнали из книги Аршинова и публикаций в анархических изданиях.

Однако идиллия продолжалась недолго. Махно не мог все время жить по гостям, хотя за год он сменил несколько дружеских квартир, куда французский анархист Фюш не отыскал ему маленькую однокомнатную квартирку в Венсенне, тогдашнем пригороде Парижа, на улице Жарри, 18, куда семья и переехала в июне 1926-го. Квартира была недорого, но, как бы то ни было, за нее нужно было платить. А значит – работать. А как найти нормальную работу, не зная французского языка? Ида Метт в своих воспоминаниях пишет, что Махно так и не овладел французским, и, во всяком случае, его язык был так плох, что он не мог объясняться без переводчика даже с иностранными друзьями. Что же говорить о работодателях, которые не испытывали к нему никаких чувств? Он долго искал работу и, как правило, нигде не задерживался. Одно время он работал помощником литейщика в мастерской неподалеку от дома, потом токарем на заводе Рено, но состояние здоровья уже не позволяло ему выполнять сколь-либо тяжелую физическую работу. Галина подрабатывала на обувной фабрике, потом в бакалейной лавке... Отчуждение – страшная болезнь эмиграции – всей тяжестью навалилось на него. Махно привык быть в центре внимания, более того, решать все на свой страх и риск, ставить, если необходимо, на карту свою жизнь и жизнь товарищей. Но здесь, в «городе света», никому, кроме нескольких русских друзей, в общем-то, не было до него никакого дела. То же самое происходило со многими революционерами-анархистами, которые волею судьбы вынуждены были покинуть родину. Один из них, Василий Заяц, 1 октября 1926 года застрелился от безысходности прямо в комнате Махно. Жизнь в Париже, поначалу казавшаяся Махно избавлением от всех мучений, связанных с унижительными последствиями Гражданской войны, которые неизбежно, как морок, преследовали его и в Румынии и в Польше, неожиданно обернулась для него совсем непредвиденной стороной: он попросту никому не был нужен. А если вдруг и оказывался в центре внимания, то совсем не по желаемому им поводу.

Одной из неприятных неожиданностей, стоивших Махно много нервов, стало убийство Петлюры, совершенное в Париже 25 мая 1926 года Соломоном Шварцбардом, анархистом с Украины, решившим при помощи нескольких револьверных выстрелов отомстить за своих

родственников, убитых петлюровцами во время Гражданской войны. Выяснилось, что накануне покушения Шварцбард был у Махно и поведал ему о своем замысле. Махно было принято отговаривать его, убеждая, что лично Петлюра был против еврейских погромов, однако молодой террорист остался при своем мнении. Суд над Шварцбардом всколыхнул еврейский вопрос, которого, в той или иной степени, не были чужды все участники Гражданской войны в России и на Украине, к какому бы стану они ни принадлежали. По злой иронии судьбы, почувствовав, в какую сторону сдвигается намагниченная стрелка общественного интереса, заштатный писатель Йозеф Кессель – тоже еврей с Украины – быстренько накропал «бездарный и бредовый» роман под названием «Махно и его еврейка». В нем Махно изображен патологически жестоким бандитом, дегенератом и погромщиком, который, внезапно потрясенный красотой еврейской девушки, влюбляется в нее без памяти и, позабыв свой антисемитизм, ведет ее в церковь к венцу, дабы сбылась мечта его жизни: обратить любимую в православие...

Этот «роман» не только был ложью на все сто процентов, но и представлял определенную опасность для Махно. Кто мог поручиться, что в эмигрантском тупике не отыщется какой-нибудь неуравновешенный тип, который, начитавшись подобного чтива, не вздумает оправдать свое существование, расправившись с Махно так же, как Шварцбард с Петлюрой?

Махно, на протяжении всей своей жизни постоянно подвергавшийся самым нелепым обвинениям, счел необходимым публично отвести от себя обвинения в антисемитизме, посвятив этому вопросу статью «Несколько слов о национальном вопросе на Украине» и обращение «К евреям всех стран». Вообще, со временем «выяснение отношений» с противниками и хулителями стало настоящим наваждением для него. Воистину, он вступал в зрелый период эмигрантской жизни, когда старые товарищи расходятся в разные лагеря, а «общественное мнение» питается склоками, сплетнями и пересудами.

По счастью, в этот критический момент один довольно богатый французский анархист дал Махно денег, чтобы он мог начать работу над своими мемуарами. Он принялся за дело, и в 1927 году первый том (на французском языке) вышел в свет. Однако книга, переполненная незнакомыми, да, пожалуй, и ненужными французскому читателю подробностями, расходилась плохо, так что в результате в деньгах ему было отказано, и два последующие тома, подготовленные к печати в 1929 году, вышли в свет только после его смерти. Несомненно, в этом вина и самого Махно, литературный стиль которого так и не позволил ему выбраться из нагромождения второстепенных деталей и рассказать о главных событиях махновщины (как мы знаем, третий том обрывается описаниями событий ноября 1918 года, когда самое интересное в его повстанческой жизни еще даже не началось). Попытки Иды Метт каким-то образом повлиять на его литературные пристрастия, сконцентрировать и «ускорить» повествование, привели только к тому, что он обиделся и перестал говорить с нею на эти темы. Не могла повлиять на него и Мария Исидоровна Гольдсмит,<sup>[31]</sup> старая анархистка, сподвижница П. А. Кропоткина.

Ко всему прочему, у сорокалетнего партизана начались серьезные проблемы со здоровьем: раздробленная разрывной пулей лодыжка нестерпимо болела. Видимо, в ноге остались осколки, потому что рана не заживала и гноилась. Операция, на которую он решился в 1928 году, так и не привела к желаемому выздоровлению. Махно отказался от ампутации стопы,

но весь остаток жизни был хромым. Сказывались и другие раны. Доктор Люсиль Пеллетье, которая по мере возможности лечила его, позже признавалась, что никогда не видела ничего подобного: его тело все было исполосовано шрамами. Вдобавок, у него вновь обострился туберкулез. Под предлогом изоляции маленькой Люси от больного туберкулезом отца Галина Кузьменко съехала из квартиры в Венсенне. Однако это знаменовало, на самом деле, конец супружеской жизни, в которой Махно мог рассчитывать если не на счастье, то хотя бы на какое-то взаимопонимание и поддержку. Горячо любимая жена, которая еще так недавно участвовала с ним в боях и походах, в эмиграции превратилась в абсолютно чужого человека. «В Париже Галина Кузьменко подрабатывала то в качестве домработницы, то кухарки, считая при этом, что природой ей уготована иная, лучшая участь, – подтверждает в своих воспоминаниях Ида Метт. – В 1926—27 годах она даже написала прошение в адрес Советского посольства, чтобы ей разрешили вернуться в Россию. Насколько мне известно, Москва отвергла ее просьбу. Кажется, после этого она вновь сошлась с Махно. Не думаю, чтобы он простил ей подобный поступок, однако оба они, видимо, поступили так по причине взаимной моральной опустошенности...» (56, 3).

После того положения, которое занимала Галина Кузьменко, будучи женой батьки в годы Гражданской войны на Украине, быть швеей, уборщицей, кухаркой или прачкой в пансионе для детей русских эмигрантов казалось ей нестерпимым унижением. Она не хотела жить в маленькой комнатке вместе с больным мужем и трехлетней дочерью. В Париже супруги многократно расходились и сходились вновь, но в доме уже не могло быть мира. Отчаяние, вызванное невозможностью вырваться из нищеты и одиночества, находило выход в злобных нападках на мужа, которого Галина упрекала в неспособности прокормить семью, в пьянстве, в мании величия. В конце концов она связалась с просоветски настроенным «Союзом украинских граждан во Франции», стала работать экспедитором газеты этой организации и в 1927-м официально развелась с Махно. Правда, они продолжали видеться, ибо Махно регулярно бывал у жены, чтобы повидать дочь, которую очень любил. «Когда его дочь была маленькой и оставалась под его присмотром, он исполнял любые ее капризы, – вспоминала Ида Метт, – хотя иногда случалось, что, будучи в состоянии нервного расстройства, он бил ее, после чего ужасно переживал от одной мысли о том, что поднял на нее руку. Он мечтал о том, что его дочь станет высокообразованной женщиной. Мне довелось как-то видеть ее после смерти Махно: ей было 17 лет, внешне она очень походила на отца, однако она мало что знала о нем, и я не уверена, что ей вообще хотелось что-либо о нем узнать...» (56, 4).

Был ли Махно пьяницей? Эта тема была козырной картой советской «махнографии» и проскользнула даже в книгу Волина. Ида Метт категорически отрицает это: «В течение трех лет пребывания в Париже я ни разу не видела его пьяным, а виделась я с ним в то время часто. Мне приходилось сопровождать его в качестве переводчика на разных приемах, организовывавшихся в его честь иностранными анархистами. Он пьянел от первой же рюмки, глаза его загорались, прорезалось красноречие, но по-настоящему пьяным я его не видела никогда» (56, 6). Разумеется, будь Махно горьким пьяницей или алкоголиком, он не мог бы не обнаружить этого – такова уж физиология алкоголизма как болезни. Нет, не пьянство добивало Махно в Париже, а растущее с годами социальное изгойство, невостремленность.

От медленного угасания Махно в буквальном смысле слова спас Петр Аршинов, поселившийся в том же доме, где жил Нестор. Вместе они смогли наладить издательство русскоязычного анархического журнала «Дело труда», куда Махно регулярно (едва ли не в каждый номер) писал статьи, что позволяло ему чувствовать себя все-таки причастным к политической жизни если не эпохи, то, по крайней мере, эмиграции. Перед лицом большевизма, который, несмотря на известные за границей партийные распри и гонения на инакомыслящих, победоносно разворачивался на гигантской политической площадке СССР, анархизм переживал глубочайший кризис. Аршинов взял на себя ревизию ошибок и четкую формулировку основных принципов анархо-коммунизма, исходя из опыта русской революции. Он предложил приверженцам анархизма «платформу», на которую могли бы при желании встать и анархисты-коммунисты, и синдикалисты, и индивидуалисты. «Платформа» подразумевала, что анархизм является революционным учением, которое приводит в движение классовая борьба, средством которой является синдикализм, а целью – освобождение личности. Эта формулировка вызвала целую бурю в международных анархистских кругах. Все эмигрантские анархические издания (прежде всего во Франции и в США) обсуждали ее со страстью, которую могут испытывать лишь революционеры, «отвергнутые» революцией. То, что после Октябрьского переворота анархисты оказались по существу отстраненными от революционных преобразований, явно указывало, что в теории и в практике анархизма нужно что-то решительно менять. Но что? Далеко не все согласились с «платформой» Аршинова. Как это ни странно, одним из главных противников группы «Дело труда» стал Всеволод Волин. Прекрасно владея несколькими иностранными языками, имея несравненно больший, чем Махно и Аршинов, опыт эмигрантской и, в частности, парижской жизни, несравненно больше знакомств в анархических кругах и знаний о проблемах, занимавших в первую очередь европейских анархистов, Волин мечтал выдвинуться в заглавную фигуру, представляющую русский анархизм. Он понимал, что европейские анархисты не имеют того «пораженческого» комплекса, которым была заражена вся русская революционная эмиграция, и гораздо в большей степени дорожат своими «принципами» и «свободой вероисповедания», чем русские, чьи неудачи 1918–1921 годов подталкивали к сплочению. Волин назвал аршиновскую платформу попыткой «обольшевить анархизм» и стал проповедовать идею «синтеза» всех анархических течений, которую изначально выдвинул Себастьян Фор. «Синтез» отличался от «Платформы» несколько большей расплывчатостью и необязательностью принципов и в этом смысле больше подходил привыкшим к плюрализму мнений европейцам.

27 марта 1927 года состоялось обсуждение проекта «Платформы» в кинотеатре «Ле Роз»: присутствовали представители анархических организаций России, Польши, Болгарии, Италии и даже Китая. Оповещенная «внутренними информаторами» французская полиция не осталась безучастной и, опасаясь крупного «международного заговора», арестовала всех, кто принимал участие в заседании. Вновь попавший в руки жандармов Махно получил предписание оставить Францию не позднее 16 мая. Только неоднократные обращения французского анархиста Луи Лекуана, известного своей антивоенной деятельностью, к префекту парижской полиции избавили Махно от нового изгнания, которое, вероятно, просто разрушило бы его. Выдворение Махно из Франции было отменено с условием, что последний на три месяца испытательного срока полностью откажется от политической активности и в дальнейшем воздержится от любой политической деятельности, которая могла бы затронуть интересы Франции. Отныне и навсегда Махно, над которым, как

дамоклов меч, висела угроза изгнания, вынужден был вариться в эмигрантской среде, переживать и пережевывать былое и не помышлять более о борьбе в настоящем.

Лишь однажды судьба улыбнулась ему: в июле 1927 года на банкете, посвященном освобождению испанских анархистов Аскасо, Дуррути и Ховера, он почувствовал подобие ветерка, долетавшего из Испании. Там определенно назревали революционные события. После банкета Махно зазвал испанских анархистов в свою квартирку и через переводчика, Якова Дубинского, проговорил с ними много часов, рассказывал об опыте своей борьбы и под конец заключил: «У себя в Испании вы обладаете организацией, которой так недоставало нам в России, однако именно организация ведет революцию к глубоким преобразованиям и к победе... Я никогда не отказывался от борьбы – и, как только я увижу, что вы начинаете свою, – я буду с вами» (94, 322).

Увы, этим мечтам не суждено было сбыться! Уже спустя четыре года, когда испанские анархисты вновь обратились к нему с предложением возглавить герилью в Каталонии во время революционного кризиса 1931 года, он не смог ответить согласием: здоровье его было полностью разрушено, и единственное, что он мог сделать и сделал, – это опубликовать две статьи о революционном движении и роли анархистов в Испании в «Деле труда».

До самой смерти ему так и не удалось переломить печальные обстоятельства судьбы политэмигранта. За годы бури и натиска ему приходилось расплачиваться теперь годами иссушающего душу нищего существования, когда, несмотря на свои волевые качества, он чем дальше, тем в большей степени становился заложником никак не зависящих от него обстоятельств. Стечением таких обстоятельств стал резкий разрыв Махно с Волиным. Дело в том, что в 1927-м советский историк М. Кубанин выпустил в свет несомненно талантливое (и на ту пору в России лучшее) исследование о махновщине (40), в котором, в частности, были приведены слова Волина о махновской контрразведке, которые он произнес за столом следователя ревтрибунала 14-й Красной армии после ареста зимой 1919 года: «Для меня контрразведка была ужасом». Под трибуналом всякий человек, понятно, принимает свою стратегию, которая убергла бы его, по крайней мере, от расстрела – и Махно понимал это. Но его взорвало то, что бывший председатель Реввоенсовета Повстанческой армии, прекрасно осведомленный о всех ее делах, а в эмиграции ставший едва ли не главным «толкователем» махновщины, ни минуты не сомневаясь, «осудил» злоупотребления контрразведки, заверил следователя Вербина, что по этому поводу у него были постоянные конфликты с Махно и Задовым (которого Волин почему-то назвал начальником контрразведки), и вообще, рассказал про контрразведку все, что тому угодно было услышать.

Махно написал в ответ Кубанину одну из важнейших своих работ – «Махновщина и ее вчерашние союзники – большевики», – где, в частности, разобрал и случай Волина, который в конце ноября 1919 года, в сопровождении, кстати, настоящего начальника контрразведки Льва Голика и других верных людей выехал из Екатеринослава в Кривой Рог для организации там анархической конференции, но на пути решил свернуть в село, занятое частями 14-й Красной армии. Голик предупредил Волина о том, что село занято красными и он, несомненно, будет арестован. На что Волин ответил, что у него есть бумага за подписью

бабки Махно и его никто не тронет. Таким образом, Волин либо попал в руки красных по собственной глупости, либо сдался добровольно.

Резкий тон отповеди и обвинение в добровольной сдаче красным вынудили Волина, в свою очередь, написать оправдательное «Разъяснение», в котором он старательно отводил от себя обвинения Махно. Этому Махно стерпеть уже не мог и обрушился на Волина переполненной сарказмом статьей «По поводу „разъяснения“ Волина», в которой прямо обвиняет последнего во лжи и криводушии. «Волин с конца августа месяца 1919 г. занял в армии повстанцев махновцев пост председателя Военно-Революционного Совета. Мог ли он не знать, что товарищ Л. Голик (а не Задов. – В. Г.) начальник армейской контрразведки? В то время... начальник контрразведки равнялся высшему военному командиру, и на всех серьезных совещаниях этих командиров и президиума Реввоенсовета его присутствие было обязательным, и он всегда присутствовал. Каким же это образом могло случиться, что председатель Реввоенсовета армии не знал, кто является начальником армейской контрразведки? Нет, тут что-то неладное творится с Волиным... „Незнание“ его того, что т. Голик был начальником армейской контрразведки, что он, – т. Голик, – был послан мною вместе с Волиным в район Кривого Рога с определенной ответственной задачей и что т. Голик по моему официальному предписанию подобрал несколько человек из лучших контрразведчиков, по желанию самого же Волина, сопровождать его в пути и всюду по району на митингах, – незнание всего этого Волиным теперь, – есть гнуснейшая ложь...» (55, 217–218). «И не из-за личной неприязни, – продолжает Махно, – я отвернулся от Волина... От известного времени, после встречи с ним здесь, за границей, я его просто не считаю товарищем...» (55, 223).

Махно не мог отказаться от подробного разбирательства каждой лжи, высказанной по его поводу, и в этом смысле ссора с Волиным была не просто конфликтом между интеллигентом-«теоретиком» и простолюдином, волею судьбы ставшим во главе повстанческого движения: Махно чувствовал себя единственным уцелевшим защитником правды о повстанчестве, единственным носителем светлой памяти о товарищах – тех, что погибли, и тех, что остались в живых, но так и не были «признаны» революцией и вынуждены были таить от большевиков свою мечту о «вольных советах». В 1927 году в СССР бывшим махновцам вышла амнистия, но это не означало, что они могут открыто исповедовать свои взгляды, – немало их подало заявления в ВКП(б), многие были даже приняты в партию, однако ГПУ пристально следило за всеми, кто когда-то воевал в партизанской армии Махно и через своих сексотов вынуждено было констатировать, что внутренне они так и не расстались со своим прошлым, хотя по видимости смирились и терпеливо работали на советскую власть. Публикации о махновщине, появившиеся за эти годы в СССР, не оставляли никакой надежды на то, что о повстанческом движении будет рассказана правда.

В этом смысле особенно знаменательны «Воспоминания» Виктора Белаша, отрывок из которых был опубликован в 1928 году в харьковском журнале «Летопись революции». «Воспоминания» начальника штаба Повстанческой армии, охватывающие весь период махновщины, были бы поистине бесценным документом... если бы не подозрение, что написать мемуары Виктору Федоровичу помогли в тюрьме работники ГПУ. Как мы уже писали, на следующий день после совещания 21 июля 1921 года в селе Исаевке под

Таганрогом Махно и Белаш расстались. Махно ушел в Бессарабию, а возглавляемая Белашом группа двинулась на Кубань в поисках отряда Маслакова, но, не обнаружив его следов, по-видимому, быстро рассеялась. В сентябре в станице Должанской Виктор Белаш попал в руки Чека. Второе после батьки лицо в Повстанческой армии, оказавшись в руках чекистов, казалось бы, должно было подвергнуться жестким репрессиям, вплоть до расстрела. Однако репрессий таких не последовало. Почему? Очевидно, чекисты решили воспользоваться начальником махновского штаба в других целях. В каких? Как известно, многие анархисты, связанные когда-то с махновским движением (например, Иосиф Тепер, автор книги о Махно), а также махновские командиры, сдавшиеся после 1921 года, выговаривали себе жизнь либо обязательством сотрудничества с ГПУ (как Лев и Даниил Задовы), либо обещанием выдать один из батькиных секретов (Иван Лепетченко, скажем, пообещал чекистам указать, где спрятаны ценности, изъятые махновцами в 1919 году из ломбардов Екатеринослава). Белаш же оказался поистине уникальным информатором. Он не запирался на следствии, а последовательно сдавал старых товарищей. Часть показаний Белаша попала и в книгу Кубанина о махновщине. Видя эту покладистость, чекисты, очевидно, решили использовать его для более масштабного дела. Поскольку попытки выхватить Махно у румын или выманить его из Польши, чтобы судить его как бандита и окончательно втоптать в грязь истории, окончились неудачей, в Москве и Харькове стали готовить заочный процесс, который должен был доказать, что Махно – чистойшей воды уголовник и кровавый бандит. Делом занялась обширная группа следователей, собравшая (во многих случаях – сфабриковавшая) огромное количество сведений, которые должны были подтвердить большевистскую версию роли Махно во время революции и Гражданской войны.

Вот тут-то, пишет Лев Яруцкий в своем исследовании «белых пятен» махновского движения, и пригодился Виктор Белаш, ближайший сподвижник батьки: «Конечно, бывший начальник штаба махновской армии многое знал и многое помнил. Однако его обширнейшие показания-воспоминания (целая объемистая книга) насыщены таким множеством мельчайших подробностей – цифрами, датами, документами, – что не остается сомнений: такой „отчет“ под силу составить только многочисленной группе следователей и бухгалтеров, да и то в результате многомесячной кропотливой работы. Виктор же Белаш, оказавшийся в чекистской тюрьме весьма покладистым, написал и то, что досконально знал и помнил, и то, что подсказали ему солдаты железного Феликса» (93,128). Отсидев два с половиной года в большевистской тюрьме, Виктор Белаш был без суда отпущен на свободу. По-видимому, уже тогда он был завербован ГПУ и, продолжая пользоваться несомненным авторитетом в среде анархистов восстановленной на Украине федерации «Набат», продолжал выявлять «недобитое и законспирированное».

Страшно и больно писать о том, как бесстрашный партизан и талантливый полководец чернит все, чему служил, и превращается в агента-provokatora: но в тогдашнем СССР иначе сохранить себе жизнь было невозможно. Белаш «заложил» намеченный на июнь—август 1924 года подпольный съезд анархистов Украины, участники которого были заблаговременно арестованы и отправлены в Нарым. Сам он тоже был сослан – но по щадящему принципу – в Ташкент, иначе распознать в нем сексота не составило бы никакого труда. Вернувшись из ссылки в 1926 году, Виктор Федорович продолжил тайную работу по выявлению бывших махновцев. Самой большой его «удачей» было раскрытие замысла

антисоветского восстания, которое подготавливали бывший член штаба Повстанческой армии Буданов и Белочуб, доверившиеся старому товарищу и в награду получившие расстрельный приговор. Впрочем, не избежал расстрела и сам Виктор Белаш, несмотря на проделанную им огромную агентурную работу. В 1937 году он, как и все бывшие командиры Революционно-повстанческой армии Махно, был расстрелян. Перед смертью написал обширную исповедь, содержание которой явно говорит о том, что он надеялся на благополучное решение своей судьбы (93, 309). Однако на этот раз перо не спасло его. Свое дело он сделал и больше был не нужен.

Какое счастье, что Махно не знал о предательствах своих товарищей! Если бы жуткая правда о происходящем в Советской Украине, правда о людях, которых он помнил и любил, стала известной ему, добавилась к семейным неурядицам, разрыву с бывшими соратниками по борьбе, бедности, болезням, он мог бы не выдержать и сломаться гораздо раньше. По счастью, он ничего не знал. Он продолжал вести свою борьбу, по фрагментам прописывая в своих статьях отдельные эпизоды махновщины, надеясь когда-нибудь восстановить всю историю движения «день за днем». Несомненно, у него не хватало на это ни средств, ни литературного дарования, ни сил, но он упорно работал, регулярно публикуя в «Деле труда» статьи, страстный стиль и содержание которых не оставляли сомнения в том, кем является их автор. Не прочитав их, трудно составить себе верное представление о Несторе Махно. По счастью, стараниями Александра Скирда, главные публикации Махно собраны в одну книгу, в 2004 году вышедшую на русском языке (55). Эти статьи написал не бандит, не политический авантюрист, а революционер, страстный, прямолинейный, так и не научившийся политическому лукавству, столь характерному для послереволюционного времени, так и не взявший, по счастью, в толк, что слово – мягкая материя, – и при желании за словом можно спрятаться и без особого труда изобразить любую картину, в которой только есть нужда и которую подсказывает воображение. Пожалуй, именно это невладение словом обусловило неспособность Махно лгать. Для него слово твердо, не пластично. Он набивает слова в строку, как пули в пулеметную ленту.

В быту он был гораздо мягче. Очень страдал от одиночества, от нехватки общения. Париж двадцатых – тридцатых годов, Париж, в котором жили и работали его враги – Деникин, Врангель, Раковский (послом СССР), Троцкий (в первое время эмиграции), а уж тем более Париж Пиаф, Элюара, Дали, Хемингуэя – оставался совершенно чужд ему. Он посещал эмигрантские сходки, явно страдая от недуга, свойственного большинству выдающихся личностей, не способных вернуться к жизни простого, «повседневного» человека. При этом он совершенно преображался перед широкой аудиторией, и его манера торжественно выражаться, смешная в узком кругу, неожиданно находила отклик среди большой массы слушателей, и он на несколько минут превращался в великого оратора. «Казалось, он бывал обеспокоен, когда о нем переставали говорить, и тогда раздавал интервью журналистам всех мастей, – вспоминает Ида Метт, – отлично осознавая враждебное к нему отношение большинства политических партий и деятелей. Как-то раз его попросил об интервью один украинский журналист, причем при моем посредничестве. Я советовала ему отказаться, предвидя, что журналист все переиначит и что при этом у Махно не будет никакой возможности защитить свои права. Моего совета он, естественно, не принял, и журналист потом напечатал все то, что посчитал нужным для себя, а отнюдь не то, что говорил бывший батька. Махно был вне себя от ярости, однако не думаю, чтоб этот случай его чему-нибудь

научил» (56, 5). Действительно, таким же образом на вечере советских русских в доме 16 на рю де Каде «познакомился» с Махно корреспондент «Огонька» Лев Никулин. Там автор статьи услышал обрывок разговора:

«...- Это, стало быть, когда мы обошли вашу дивизию...

Я обернулся, – пишет Лев Никулин. – Мягкий высокий голос, певучий тенорок. Статный высокий юноша разговаривал с низеньким угловатым человеком. Человек этот одет был так, как одеваются русские за границей, русские, не привыкшие к газовым печам, к завтракам в двенадцать и обедам в семь, к французской кухне и легкому климату. На этом человеке был стандартный готовый костюм из универсального магазина, красненький галстучек и мягкая рубашка с отложным воротником. На руке у него было стандартное непромокаемое пальто и мягкая фетровая шляпа в руке. Усы у человека были подстрижены как полагается, как любят французские парикмахеры. И все же за двадцать шагов вы безошибочно угадывали русского. Глубокий шрам от рта до уха пересекал угловатое лицо. Шрам от удара саблей или плетью. Человек этот явно хромал. У него были бегающие, внимательные, колючие глаза...

Этот человек был Нестор Иванович Махно» (93, 307).

Несмотря на все старания «удержаться на плаву», жизнь Махно в Париже складывалась все тяжелее. Он переменял несколько работ – одно время был плотником на киностудии, но в конце концов зарабатывал вместе с Аршиновым плетением женской веревочной обуви. Разумеется, эта работа приносила ему гроши, но в конце концов и она перестала кормить его, когда некий производитель обуви выбросил на рынок дешевые туфли машинного плетения, которые мгновенно вытеснили продукцию русских ремесленников.

Французские анархисты создали комитет помощи Махно и в газете «Le Liberaire» объявили сбор средств в поддержку своего товарища, и эта мера даже оказалась действенной—во всяком случае, весь 1929 год Махно еженедельно получал небольшую сумму, достаточную для скромной жизни. Однако в 1930 году в редакции еженедельника произошли изменения: «антиплатформисты» взяли верх над «платформистами», а поскольку Махно был ярким сторонником «платформы», газета сняла с себя обязательство собирать средства в его пользу, напечатав лишь адрес, по которому желающие могли перечислить деньги. Объявление было опубликовано в газете неоднократно, но после отказа от централизованного сбора пожертвований финансовое положение Махно катастрофически ухудшилось. Но материальные невзгоды не шли ни в какое сравнение с теми моральными ударами, которые ждали его в ближайшем будущем.

В 1931 году Петр Аршинов выпустил книгу «Анархизм и диктатура пролетариата», в которой открыто исповедовался в признании правоты большевиков. Он поверил, что сила – это правота. Так случилось не только с ним. Оппоненты Аршинова обвинили его в сотрудничестве с ГПУ и прямой провокационной работе в анархистском движении. Запахло отвратительнейшей склокой и жуткими подозрениями, что весь круг «Дела труда» распропагандирован Лубянкой. Аршинов, верный Аршинов, старый друг, уехал в СССР!

Для Махно отъезд Петра Андреевича был страшным ударом. Мало того, что теперь он остался совершенно один. И даже хуже, чем один, – ибо подозрения, павшие на Аршинова, коснулись и его. Но если бы речь шла только о подозрениях, о провокации, о злом навете! Нет. Теперь Махно на собственной шкуре почувствовал, что такое предательство. Не только его самого, не только идеи, но и всего прошлого. Погибших товарищей, сожженных деревень, растерзанного Гуляй-Поля, всех тех лет неравной борьбы, что вели они так долго бок о бок. Как мог он понять Аршинова, который всего за несколько месяцев до своего отъезда писал разоблачительные статьи о сталинско-большевистском режиме? Да, после поражения «платформы» Аршинов стал белой вороной в анархистских кругах. Да, жена его устала от эмигрантской жизни и грозила забрать сына и уехать в СССР. Наконец, его выслали из Франции – и, возможно, именно эта высылка переполнила чашу его терпения. Но Махно, остававшийся один на один с обстоятельствами во много раз более тяжкими, не мог понять этого.

Когда-то Аршинов в Бутырской тюрьме сидел вместе с Серго Орджоникидзе – и в трудную минуту воспользовался старой дружбой, чтобы вернуться в СССР, вырваться из круга отверженных, спасти себя, сохранить семью... Он ставил на карту все. Среди старых товарищей-анархистов имя его было проклято. По выбранному пути нужно было идти до конца. Он попробовал. В 1935 году в «Известиях» появилась очередная его статья – «Крах анархизма» – но в те годы, когда Сталин ломал хребты «ленинской гвардии», своих старых товарищей по партии, полководцев, стяжавших победу в Гражданской войне, подобное самоотречение уже ничего не значило. Как и все раскаявшиеся «попутчики», Аршинов был расстрелян в 1937-м. В том же году, не желая быть причисленным к пособникам Сталина, застрелился его друг Серго.

Но предательством Аршинова не исчерпался круг страшных утрат Махно. В самом конце 1932 года покончила с собой Мария Гольдсмит. Теперь в огромном Париже Махно буквально «осиротел»: никто не мог ни вступить за него, ни поддержать, кроме нескольких болгарских анархистов и эмигрантов с Украины, связанных с махновщиной. Единственная газета, которая продолжала его печатать, была американская анархическая газета «Рассвет» (Орган русских рабочих США и Канады). Здесь в 1932-м Махно удалось опубликовать «Азбуку анархиста-революционера». Лишенный элементарных условий существования, больной человек, которого недоброжелатели называли за глаза «живым трупом», находит в себе силы, чтобы написать: «Опыт практической борьбы я подкрепляю убеждение, что анархизм – учитель жизни человека, – он революционен так же, как жизнь человека, так же разнообразен и многогранен! в своих проявлениях: ибо анархизм есть свободная творческая жизнь человека» (55, 122). Почему же легально идея анархизма нигде не живет? Да потому, пишет Махно, «что в данный период развития человеческой жизни общество в человеческом смысле не живет своей жизнью, а живет жизнью своего слуги и господина – государства. Даже более того, – общество совсем обезличилось. Его нет в действительности. Все функции его, все сознание и функции в области общественных дел перешло в ведение государства. Последнее и считается теперь обществом. Группа людей, выползшая на шею всего человечества и искусно создавшая „законы“ жизни этого последнего, является теперь человеческим обществом. Человек в одиночку в своей многомиллионной массе – ничто по сравнению с этой группой бездельников, носящей имя правителей и хозяев, эксплуататоров и насильников» (55, 126). Что же делать человеку

массы, все функции которого присвоило себе государство? «Бунтуй, восставай, угнетенный брат! Восставай против всякой власти! Разрушай власть буржуазии и не допускай к жизни власти социалистов и большевиков-коммунистов. Разрушай всякую власть и гони от себя ее выразителей, ибо среди них нет твоих друзей!» (55, 128).

Да уж, бунтарь Махно оставался бунтарем до конца. Слишком, увы, скорого.

Бедность, плохое питание, курение, отверженность и одиночество сделали свое дело: обычное заболевание гриппом открыло путь застарелой чахотке, которая как хозяйка ворвалась в его истерзанные легкие. На этот раз обострение было слишком серьезным, чтобы Махно мог просто «отлежаться». 16 марта 1934 года Махно положили в бедняцкий госпиталь Тенон. Парижские анархисты очнулись, вновь создали «комитет Махно» для сбора средств при газете «Le Liberaire», но было слишком поздно. В июле врачи сделали Махно операцию, удалив два пораженных туберкулезом ребра. Однако и эта мера была запоздалой. Смерть неумолимо шла за ним, и единственное, что можно было еще сделать, – это отсрочить конец. Его поместили под кислородный полог. Бывшая жена, пришедшая навестить Нестора Ивановича, увидела слезы, беззвучно катящиеся из его глаз. В ночь с 24 на 25 июля 1934-го Махно не стало. Среди бумаг покойного Галина Кузьменко обнаружила текст последней статьи Махно «Над свежей могилой Н. А. Рогдаева», посвященной памяти неггибаемого русского анархиста, умершего в ссылке в Средней Азии. Ее Махно закончил еще до болезни, в январе 1934-го, но не сумел переправить в Америку из-за того, что у него не было денег даже на почтовую марку.

Для Махно Рогдаев был не просто легендарным пропагандистом анархизма эпохи первой русской революции, когда он целые южнорусские губернии с губернскими городами «излечивал» от социал-демократии и эсерства и «перекрещивал» в анархизм. Рогдаеву Махно обязан был лично.[32]

Но, может быть, больше, чем за прежние заслуги, он ценил погибшего в ссылке анархиста за то, что тот не сломался, не предал, не изменил своим убеждениям в этот проклятый век измен... Ибо на кого еще было равняться ему, оказавшемуся в крошечном одиночестве? Если не осталось живых – оставалось на мертвых... Неожиданно сильной вышла эта предсмертная статья... К несчастью для историков, в руках бывшей жены Махно и Волина – который после смерти Махно и предательства Аршинова становился главным «интерпретатором» махновщины, – оказались не только эта рукопись, но и дневник, который Махно вел в Париже. По-видимому, многие записи в нем свидетельствовали и против Галины Кузьменко, и против Всеволода Волина – во всяком случае, «дневник Махно» исчез навсегда.

Жизни этих двоих были и дальше тесно связаны – по упорно ходившим слухам, Волин стал гражданским мужем «матушки Галины». После немецкого вторжения во Францию он бежал в неоккупированный Марсель, где издал по-французски книгу «Неизвестная революция» – свою версию истории махновщины, лишь недавно переведенную на русский язык. Жил в нищете, скрывался от немцев, в сентябре 1945 года, как и Махно, умер от туберкулеза в Париже. Еще более драматично сложилась жизнь Галины Кузьменко. В годы войны немцы вывезли ее дочь Елену на работу в Берлин, она поехала следом, и они пережили сначала

